

Константин Леонтьев

# Страх Божий и любовь к человечеству



Константин Николаевич Леонтьев

## Страх Божий и любовь к человечеству

«...христианская мысль автора не равносильна ни его личному, местами потрясающему лиризму, ни его искренности, ни совершенству той художественной формы, в которую эта несовершенная и односторонняя мысль воплотилась на этот раз.

При таком, видимо, преднамеренном *освещении* картины, какое мы видим в рассказе «Чем люди живы», рассказ этот только трогателен, но *не свят*. Он прекрасен, но высшей гениальности в нем нет. Чтобы сделать эту мысль мою более понятною, я должен объяснить здесь, как именно понимаю я оба слова – *святость* и *гениальность*...»

# Содержание

#1 .....	0005
I .....	.0008
II .....	.0025

**Константин Николаевич  
Леонтьев**

**Страх Божий и любовь к  
человечеству**

***По поводу рассказа гр. Л.Н.  
Толстого «Чем люди живы?»»***

Это небольшое произведение гр. Л. Толстого – явление весьма характерное и довольно серьезное. Характерно оно потому, что в нем яснее прежнего выразился взгляд автора на *христианскую мораль*... Нечто подобное проповедовал, положим, и Левин в последней части «Анны Карениной».. Но мы не имеем права решительно отождествлять Левина с самим гр. Толстым. Все мнения героя романа, хотя бы и с некоторою любовью изображенного, мы не имеем основания приписывать автору этого романа. Однако, если обратить внимание на то, что в «Войне и мире» и других прежних произведениях гр. Толстого *эта черта* была гораздо менее заметна, чем в рассуждениях Левина[1], и стала совершенно ясна позднее по *многим, более или менее всем известным* данным и, между прочим, уже по одному выбору эпиграфов в этом последнем рассказе, то я думаю, что есть достаточный повод заняться им, так сказать, специально, несмотря на его небольшой размер и кажущуюся невинность.

*Серьезным* литературным явлением мы имеем право считать повесть «*Чем люди жи-*

вы» уже потому, что в течение одного лета она печатается в четвертый раз. Сначала она появилась в журнале г-жи Истоминой «Детский отдых»; потом она вышла отдельно с хорошими рисунками; потом отдельно без рисунков, дешевым изданием; и недавно ее четвертый раз отпечатали в виде большого альбома с теми же рисунками, но также большого размера.

Значит, она нравится, интересуется; значит, она стала очень популярна...

И заметим, она считается полезной для детского возраста, то есть для такого, в котором... еще новы

*Все впечатленья бытия...*

Очень важно знать поэтому, *правильны ли* эти впечатления, строги ли они или только трогательны, но *обманчивы...*

По моему мнению, они обманчивы.

За последнее время стали распространяться у нас проповедники того особого рода одно-стороннего христианства, которое можно позволить себе назвать христианством «санти-ментальным» или «розовым».

Этот оттенок христианства очень многим знаком; эта своего рода как бы «ересь», не формулированная, не совокупившаяся в организованную еретическую общину, весьма, однако, распространена у нас теперь в образованном классе.

Об одном *умалчивать*, другое *игнорировать*, третье *отвергать* совершенно; иного *стыдиться и признавать святым и божественным* только то, что наиболее приближается к чуждым Православию понятиям европейского *утилитарного прогресса*, – вот черты того христианства, которому служат теперь, нередко и бессознательно, многие русские люди и которого, к сожалению, провозвестником в числе других явился, на склоне лет своих, и гениальный автор «Войны и мира»!..

От его дарований можно было бы ожидать чего-нибудь поглубже и посамобытнее!..

Итак, «Чем же люди живы?» Какое же содержание этой популярной повести?

Эта повесть есть не что иное, как история Ангела, *наказанного Богом заслушание*. Наказание состоит в том, что Ангел сделался на время человеком, и человеком нагим, беспомощным и ничего не имущим. Раздетого донага, полузамерзшего и голодного юношу нашел около часовни, «построенной для Бога», бедный деревенский сапожник. Он привел его к себе в избу, где жена его, Матрена очень дурно их встретила и долго бранила. Наконец, когда муж сказал ей: «Матрена, али в тебе Бога нет? Помирать будем!» – Матрена утихла и накормила обоих. Ангел после этого прожил у сапожника долго и стал отличным мастером. Бог велел Ангелу быть человеком до тех пор, пока он не узнает три слова «что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы?» Три случая из жизни человеческой заставили Ангела понять к ответы на эти задачи Божий. «В людях есть любовь»; это Ангел узнал из того, что мужик, увидав его го-

лого у часовни ночью, решил его одеть и взять с собою после минутного колебания и страха. Второй ответ: не дано людям знать, чего им для своего тела нужно, – Ангел узнал по следующему случаю. Приехал толстый, богатый барин заказывать себе дорогие сапоги «чтобы год не кривились, не поролись». Заказал себе богач сапоги на год, но, выходя, ударился о низкую дверь и в возке, дорогою, сейчас же умер. И еще узнал Ангел третий ответ: «Что жив каждый человек не заботой о себе, а любовью». Этот последний и главный ответ Ангел понял именно по поводу того обстоятельства, за которое он был Богом наказан, как за *ослушание*. Но *ослушание* Ангела произошло от необдуманного движения своейвольной любви. Ангелу не приписано какое-нибудь худое чувство. Он согрешил только *несколько гордым милосердием*, если можно так выразиться. Под влиянием сострадания он на минуту забыл страх Божий и задумал быть милостивее Самого Бога. Бог послал его взять душу бедной одинокой крестьянки, которая только что родила двух девочек, Несчастливая стала просить Ангела, чтобы он

не брал от нее душу, потому что сирот некому будет выкормить и обдумать. Ангел послушался ее – и за это наказан. Бог все-таки послал его назад взять душу родильницы, и при этом она, умирая, упала на одну из девочек и вывернула ей ногу так, что девочка осталась навсегда хромою. Сам же Ангел за это самое проявление любви и сделан был на время беспомощным человеком. Пред концом его жизни у сапожника пришла к ним хорошо одетая женщина с двумя девочками. «Девочки в шубках, в платочках ковровых; одна в одну, разузнуть нельзя. Только у одной левая ножка покорооче: идет, припадает». Женщина пришла заказать девочкам кожаные башмачки. Потом женщина разговорилась и стала рассказывать: «Годов шесть, – говорит, – тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обморушки эти от отца трех деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был, в роце работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперек прихвати-

ло. Все нутро выдавило. Только довели, он отдал Богу душу, а баба его в неделю и роди двойню, вот этих девочек. Бедность, одиночество, одна баба была, ни старухи, ни девчонки.

Одна родила и померла. Пошла я наутро проведать соседку; прихожу в избу, а она, сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завалилась на девочку Вот эту задавила – ножку вывернула. Собрался народ, обмыли, спрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их? А я из баб одна с ребенком была. Первонького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла их до времени к себе. Собрались мужики, думали-думали, куда их деть, да и говорят мне: «Ты, Марья, поддержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем». А я разок покормила грудью пряминькую, а эту раздавленную и кормить не стала. Не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет, жалко стало и ту, стала кормить, да так-то одного своего да этих двух-троих грудью и выкормила. Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столь-

ко, Бог дал, в грудях было, что зальются бывало. Двоих кормлю бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так Бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше Бог детей не дал. А недостаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая, а детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки! Как же мне их не любить! Только у меня и воску в свече, что они».

Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала сощек слезы стирать и вздохнула. Матрена и говорит: «Видно, пословица не мимо молвится: без отца-матери проживут, а без Бога не проживут».

Говорят они так промеж себя, и вдруг как зарница осветила всю избу от того угла, где сидел Михаила. Оглянулись все на него и видят: сидит Михаила, сложив руки на коленках, глядит вверх, улыбается».

Таково содержание этой прекрасной повести. Высокое, трогательное и местами слегка забавное, изящное и грубое – все это сплетает-

ся одно с другим, сменяет друг друга точно так же, как бывает в действительной жизни, верно понятой и прочувствованной.

Если бы в этой повести *направление мысли* было настолько же широко и разносторонне при твердом единстве христианского духа, насколько богато ее содержание при высокой простоте и сжатости формы, то я бы решился назвать эту повесть и святою, и гениальною. Но *христианская мысль* автора не равносильна ни его *личному*, местами потрясающему лиризму, ни его искренности, ни совершенству той художественной формы, в которую эта несовершенная и односторонняя мысль воплотилась на этот раз.

При таком, видимо, преднамеренном *освещении* картины, какое мы видим в рассказе «Чем люди живы», рассказ этот только трогателен, но *не свят*. Он прекрасен, но высшей гениальности в нем нет. Чтобы сделать эту мысль мою более понятною, я должен объяснить здесь, как именно понимаю я оба слова – *святость* и *гениальность*. Сперва о святости. Святость я понимаю так, как понимает ее Церковь. Церковь не признает святым ни

крайне доброго и милосердного, ни самого честного, воздержного и самоотверженного человека, если эти качества его не связаны с учением Христа, апостолов и *св. отцов*, если эти добродетели не основаны на этой тройственной совокупности. Основы вероучения, твердость этих основ в душе нашей важнее для Церкви, чем все *прикладные* к земной жизни нашей добродетели, и если говорится, что «вера без дел мертва», то это лишь в том смысле, что *при сильной вере* у человека, самого порочного по природе или несчастного по воспитанию, будут все-таки и *дела* – дела *покаяния*, дела *воздержания*, дела *принуждения* и дела *любви*... Вера без дел мертва в *настоящем*, положим, у злого человека, потому что она не одолела еще его страстей и слабостей, но *рано или поздно*, если она в уме и сердце, она принесет плоды дел; *дела же без веры*, плоды нравственные, без корней вероучения, это – или плоды гордости душевной, результаты благородно настроенного *самоуверования* и тщеславия или врожденные свойства доброй природы и результаты хорошего первоначального воспитания; *не нами дана нам натура*, а

Богом, и не мы сами себя с детства воспитываем, а люди и обстоятельства по смотрению Божию. Все это недоступно нам; вера одна или, еще точнее, – искание, желание веры доступно всякому, если он не откажется от смирения и не будет стыдиться страха... Высшие плоды веры, – например, постоянное, почти ежеминутное расположение любить ближнего, – или никому не доступны, или доступны очень немногим: одним – по особому рода благодати прекрасной *натуры*, другим – вследствие многолетней молитвенной борьбы с дурными наклонностями. *Страх же доступен* всякому: и сильному и слабому, – страх греха, страх наказания и здесь и там, за могилой... И стыдиться страха Божия просто смешно, кто допускает Бога, тот должен Его бояться, ибо силы слишком несоизмеримы. Кто боится, тот смиряется; кто смиряется, тот ищет *власти* над собою, власти видимой, осязаемой; он начинает любить эту власть духовную, *мистически*, так сказать, оправданную пред умом его; страх Божий, страх греха, страх наказания и т. п. уже потому не может унижать нас даже и в житейских наших от

ношениях, что он ведет к вере, а крепко утвержденная вера делает нас смелее и мужественнее против всякой телесной и земной опасности: против врагов личных и политических, против болезней, против зверей и всякого насилия... Вот отчего святые отцы и учителя Церкви согласно утверждали, что «начало премудрости (т. е. правильное понимание наших отношений к Божеству и людям) есть *страх* Божий; иные прибавляли еще: «*плод же его любви*». Другими словами, та любовь к людям, которая не сопровождается страхом пред Богом (или смирением *перед церковным учением*), не зиждется на нем, этим страхом иногда даже не отсекается (как случилось у наказанного Ангела графа Толстого), – такая любовь не есть чисто христианская, несмотря на всю свою видимую привлекательность, на искренность порывов, несмотря даже на несомненную практическую пользу, истекающую для страдальцев земных от действий такой любви. Такая любовь, *без смирения и страха* пред положительным вероучением, горячая, искренняя, но в высшей степени *своевольная*, либо тихо

и скрытно гордая, либо шумно тщеславная, исходит не прямо из учения Церкви, она пришла к нам не так давно с Запада; она есть самовольный плод *антрополатрии*, новой веры в *земного человека* и в земное человечество – в идеальное, *самостоятельное, автономическое* достоинство *лица* и в высокое практическое назначение «всего человечества» здесь, на земле. Любовь без страха и смирения есть лишь одно из проявлений (положим, даже наиболее симпатичное) того *индивидуализма*, того обожания прав и достоинства человека, которое воцарилось в Европе с конца XVIII века и, уничтожив в людях веру в нечто высшее, от них не зависящее, заставив людей *забыть страх и стыдиться смирения*, привело на край революционной пропасти все те западные общества, в которых эта *антрополатрия* пересилила любовь к Богу и веру в святость Церкви и в священные права государства и семьи. *Не новым* держатся внешние общества, а только тем, что в них еще не погибло *все старое*, укрепившееся веками под влиянием вероучения, при действии *смирения и страха*. Обманчивая, односторонне понятая

любовь и уважение к земному человечеству, к его земному счастью, к его земным правам, его практическому равенству еще не успели вполне и везде вытравить любовь и уважение к авторитету той или другой христианской Церкви, к богопомазанной власти и родителюскому праву...

Любовь к человечеству самовольная, чисто утилитарная, ничем не сдержанная и не направленная есть односторонность и ложь.

Один из глубокомысленнейших учителей Церкви (V или VI века?), Исаак Сирийский, выражается так в одном из своих поучений: «Многая простота *есть* удобопревертна...»[2] Что это такое? Язык перевода очень трудный и оригинальный. Самые мысли Исаака Сирина иногда очень тонки и сложны. Можно легко ошибиться и не так сразу понять его слова. Быть может, и эти строки имеют иное значение, чем то, которое я желал бы им придать; но, во всяком случае, эта мысль: «излишняя простота *удобопревертна*» (т. е. ненадежна, легко изменяет направление) – очень пригодна и к тому вопросу, который занимает нас теперь.

Излишняя простота основы, крайняя односторонность приема, неестественная односложность идеала – не тверды, «удобопрерватны» в том смысле, что приводят иногда совсем не к тому концу, которого можно было ожидать. Так, например, эта очень простая, односторонне-своевольная, гордо-болезненная любовь к человечеству, шаг за шагом в иных сердцах (особенно юных), превращение за превращением, может очень легко довести до забвения всех других сторон христианского учения – даже до ненависти к ним, к этим «сухим и как бы унижительным, скучным сторонам», до ненависти к покорности, к смирению, к страху, к воздержанию. На этой же степени *превращения* до кровавого нигилизма, до зверств всеразрушения остается уже мало поприща. Кто смелее, кто злее, кто бессовестнее, нередко даже кто глупее, тот готов.

Вот как «удобопрерватна» простота этой любви, не нуждающейся *ни в страхе, ни в смирении*. Такая любовь хотя нередко и ведет свое начало от *привычек* христианской мысли (еще носящейся в воздухе), но приводит на простом пути своем к самым антихристиан-

ским результатам, и потому тот, кто пишет о любви будто бы христианской, не принимая других основ вероучения, есть не христианский писатель, а противник христианства, самый обманчивый и самый опасный, ибо он сохранил от христианства только то, что может принадлежать и так называемому демократическому лжепрогрессу, в действительном духе которого нет и тени христианства, а все сплошь враждебно ему.

Христос не обещал нам в будущем воцарения *любви и правды на этой земле*, нет! Он сказал, что «под конец оскудеет любовь...». Но мы лично должны творить дела любви, если хотим себе прощенья и блаженства *в загробной жизни*, – вот и все.

В этом смысле, повторяю, рассказ графа Толстого пожалуй что и православный, и даже если взять в расчет сочетание *приблизительной* правильности с высокою простотой и с пламенным чувством, вырывающим иногда у читателя слезы (например, в приведенном мною о девочках-двойнях), то можно бы позволить себе назвать этот дивный рассказ и очень полезным. «Чем люди живы» – по-

весть, я не скажу вполне, а довольно *правильная* в церковном смысле, и не столько потому, что она имеет явною *целью любовь*, сколько потому, что *основанием* она имеет *страх и смирение*.

Ангел наказан Богом за *непокорность*, за самовольное, «революционное», так сказать, сострадание. Превращенный в голодного, нагого и озябшего юношу, он ищет убежища у *часовни Божией*, то есть у места *покаяния и молитвы*, которые *без страха и смирения* просто невообразимы. Он инстинктивно жметя к этой *не утилитарной* святыне, на сооружение и украшение которой люди, вероятно, истратили деньги, пригодные на пищу и телесное утешение другим человекам. Мужик Семен видит голого человека все у той же *часовни*, и, конечно, *страх Божий берет* в нем *верх над страхом человеческим* при виде неизвестного и нагого странника, при мысли о недовольстве жены и об ее брани за то, что привел бродягу.

Матрена, жена его, действительно вышедшая по этому случаю из себя, внезапно смягчается и становится доброй после возгласа

мужа:

«Помирать будем!»... Память смерти (то есть одно из главных проявлений страха Божия) пробудила в ней забытое чувство любви.

Богатый барин, который заказывал дорогие, прочные сапоги и не обнаруживал (по крайней мере, в избе сапожника) ни смирения, ни страха, как бы наказан внезапной смертью дорогой в возке.

Итак, с этой стороны, со стороны *присутствия* всех начал, повесть графа Толстого как будто правильна. В ней есть *все*, что нужно: вера в личного Бога, не только милующего, но и карающего; вера в возможность чудесного, исключительного, сверхчеловеческого; частые напоминания о неизбежном ужасе смерти, о тяготах, *неисправимо* земной жизни *присущих*; есть много страха, есть покаяние (Ангела и Матрены) и, разумеется, много любви.

Есть, говорю я, *все* основы; но как *сочетались* они между собою в уме автора – это другой вопрос. Правильно ли их взаимное соотношение? Химия, например, нас учит, что из одних и тех же элементов составляются весьма различные тела, смотря по количествен-

ным отношениям и по предполагаемому расположению невидимых частиц... Что освещено ярче у графа Толстого? Что ему кажется лучшим, и главным, и существенным? Что в этом рассказе принадлежит собственно его мысли, его тенденции и что в нем сорвалось, видимо, случайно, благодаря художественным потребностям великого изобразительного таланта? Вот все это мне хотелось бы разъяснить и разобрать с тою строгостью, которую имеем мы право прилагать к произведениям графа Толстого. Люди, поставленные особым Божьим даром на ту степень славы, на которой стоит творец «Войны и мира», должны помнить, что всякая книга, изданная ими, всякая статья, ими подписанная, может судиться не только как произведение мысли и поэзии, но и как *нравственно-гражданский поступок*. Христианское смирение не требует какого-то притворного «игнорирования» своих сил и своего влияния. Так могут думать только люди, ничего в христианстве не понимающие. Смирение не мешает сознавать даже и гений свой, как не запрещает оно человеку сознавать силу мышц своих или силу

молодого здоровья. Оно велит только помнить, что если Бог дал талант, то он и отнимет его завтра, прекратит его действие; что всякая особая сила есть в то же время и немощь или, точнее говоря, источник особых немощей и вообще, что «на всякого мудреца довольно простоты». Посмотрим же, в чем на этот раз граф Толстой, несомненно «мудрый», оказался как бы несколько наивным. И наивность его вдобавок еще вышла не совсем полезною и доброкачественною.

Итак, Ангел, наказанный за слишком смелое проявление своевольной любви, другими словами, за то, что любовь один раз только взяла у него верх над верой в Промысл, над страхом и покорностью, наконец прощен и восхищен на небо, унося с собою убеждение, что нужна только одна любовь и больше ничего.

Странная логика!.. Не Ангела, конечно, а графа Толстого!.. Так сильно пострадать за одно послушание от «Бога отмщений» и, ни слова не упоминая о страхе и смирении пред непонятным, утверждать только, что «Бог любви есть».

Не прав ли был св. Исаак Сирийский, говоря, что многая простота удобопревертна есть?

До того удобопревертна эта односторонность, что и самый сильный ум при ней путается и теряет логическую нить потому только, что взял ее не за тот конец, за который нужно было, чтобы выйти на настоящий свет Божий!

Во главе рассказа поставлено восемь эпи-

графов.

Вот они все:

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти (I Посл. Иоанна, III, 14).

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь Божия? (III, 17.)

Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною (III, 18).

Любовь – от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (IV, 7).

Кто не любит, тот не знал Бога, потому что Бог есть любовь (IV, 8).

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас (IV, 12).

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем (IV, 16).

Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (IV, 20.)

*Восемь эпиграфов – и все только о любви,*

и все из *одного* первого послания ап. св. Иоанна!

«Многая простота!»

Отчего же бы не взять и других *восемь* о наказаниях, о страхе, о покорности властям, родителям, мужу, *господам*, о проклятиях непокорным, гордым, неверующим?.. Все это найдем мы в обилии и у евангелистов, и в посланиях. Если Бог у графа Толстого аллегория или условное выражение только для названия чего-то неживого, для обозначения какой-то отвлеченной общей сущности, которую не отрицают и сами материалисты, то, конечно, можно брать из Евангелия и апостолов только то, что нам нравится. Но если Бог у графа Толстого есть *христианский* Бог, то есть Св. Троица, Которой Второе Лицо сошло с небес и воплотилось, то *всё* без исключения, переданное нам евангелистами и апостолами (которым дано право «разрешать и связывать»), *одинаково свято и равно обязательно*. Петр-апостол поэтому не хуже апостола Иоанна, Иоанн не ниже Павла и т. д.

Они все отвечали, смотря по обстоятельствам, на те сложные вопросы, которые по

очередь предлагала им развивающаяся (то есть *осложняющаяся*) христианская жизнь.

Они были «мудры яко змии» по повелению Божию; ибо простота ума, односложность логического мотива для христианина вовсе не обязательны; обязательна *простота сердца*, то есть доброта, искренность, покорность Богу и так называемой «судьбе своей, послушание *пастырям Церкви, начальникам* и т. д.». И в некоторых характерах и при иных условиях общественного положения это христианское упрощение *сердца* достигается только при помощи весьма сложной работы верующего и, главное, *смиряющегося* ума. Конечно, такие характеры и такие общественные условия существовали и в апостольские времена, и апостолы писали *разное о разном и для разных*, а не разное об одном и том же и для одних и тех же! Разнообразное содержание посланий объединено достаточно верой во Христа и Его учение. Мысль Христа, не меняясь ничуть, разлагается в посланиях подобно единому солнечному лучу в радуге или призме на главные основные цвета; в дальнейшем же учении Церкви, уже более подробном и яс-

ном, в постановлениях соборов и в святоотеческих творениях эта единая (но вовсе не *простая*) мысль реализуется в еще более сложных оттенках и смешениях *этих же самых* красок. Учение, развиваясь, разветвляясь, доходя до самых ясных и разнородно крайних выводов из единого начала (*божественности Иисуса*), становится поэтому все более и более понятным в частных случаях, в приложении к жизни. Но *сердечное понимание* этой сложности требует прежде всего *покорности ума* – покорности и тому, что нам кажется даже сухим или жестким, или непонятным и не возбуждает *сейчас* тех порывов горячей искренности, без которой нам как-то скучно, вследствие романтической избалованности нашей. «А кто преслушает Церковь, тот да будет тебе как язычник и мытарь», – сказал Сам Спаситель. Чего же больше? Этим повелением мы обязуемся принимать спокойною, сухою, если хотите, *верой ума*, даже без всяких *приятных* порывов сердца, *всё* учение Церкви, обязуемся даже *располагать* в уме своем *элементы* его именно в том *порядке*, в каком располагает их Церковь, например: «Начало премудро-

сти страх Божий (или *страх перед учением Церкви*, это все равно), плод же его любовь», т. е. та правильная и естественная любовь, которая человеку на земле доступна и больше которой требовать невозможно, не впадая в ошибку многих прогрессистов, воображающих, что несовершенство социального строя и плохое воспитание *до сих пор* мешало какому-то упоительному катаклизму грядущего любвеобилия... Нет, кто верит и кто готов *смиряться* пред учением Церкви, тот скоро узнает, до чего трудно и хорошему по природе человеку бороться *ежедневно* против сухости, лени, утомления, своекорыстия, досады, гордости и т. д., до чего все эти грехи свойственны нам и *всегда будут* свойственны. Нашей гордости хочется верить в полную исправность человечества на этой земле; нам обидно, что самые лучшие люди так немощны. Но Христос указал, что человечество *неисправимо в общем смысле*; Он сказал даже, что «под конец оскудеет любовь», т. е. со временем ее будет еще меньше, чем теперь, и потому давать советы любви нужно только с целью *единоличного* вознаграждения за гробом,

а не в смысле сплошного улучшения земной жизни человечества. Любовь к ближнему, основанная на всецелом вероучении, на любви к Церкви, – вот настоящая христианская любовь! Любовь же своевольная, основанная только на порывах собственного сердца, есть очень симпатичная вещь, но... она до того «удобопревертна», что может, как я говорил, дойти даже и до любви к революции.

Сознавал ли все это граф Толстой, когда писал «Чем люди живы?» – и отвечал ли на этот вопрос «одною любовью»? Было ли его логическое самосознание равносильно в этом случае его художественному творчеству? Едва ли. Если б он все это понимал и если бы сила и ясность христианского мышления в нем равнялась изяществу и силе его полунечаянного творчества, то он, вероятно, не поставил бы даже таких однородных восьми эпиграфов, а перемешал бы их с другими совсем иного оттенка.

Я могу, конечно, ошибаться; но сдается мне, что автор просто сам просмотрел, что его повесть правильнее его тенденции: мне кажется, он не сознавал, что даже и его любовь

основана *прежде* всего на *послушании и страхе*, так как Ангел был наказан именно за *любовь своевольную*...

Понял ли граф, что гениальный повествователь в нем выручил на этот раз весьма *несовершенного христианского мыслителя?*.. Едва ли...

Если б он желал быть строго верен церковному *святоотеческому* христианству, то он осветил бы нравственные элементы своей повести равномернее, «и страх Божий» не остался бы у него до такой степени в тени, что надо его *искать*...

Вероятнее, что он и не имел в виду строго держаться святоотеческих преданий в направлении своем, а желал проповедовать *свое*, осветить ярче то, что ему больше нравится, в чем он находит больше поэзии и отрады... Иначе, повторяю, и эпиграфы были бы *разные*, и освещение *фактов равномернее*... Но пусть будет так: пусть в этом «новом» христианстве будет особый, почти исключительный нежно-розовый оттенок!.. Но вот вопрос: *свое* ли действительно оно у графа? *Ново* ли оно? Поражает ли оно кого-нибудь гениаль-

ною оригинальностью?..

Нет, оно не *свое*, оно *не ново*, оно вовсе не гениально – это новоизобретенное «розовое» христианство!

Мы его знаем давным-давно... Оно проповедовалось Ж. Сандом, с.<ен>-симонистами и множеством других западных европейских писателей, проповедуется и у нас антиправославными органами печати... Это христианство принимает у каждого свой оттенок и переходит иногда (совершенно неожиданно для кротких наставников) в действия злобы и разрушения у тех из их последователей, которые завистливей, решительней, грубей их или больше их чем-нибудь в жизни обижены. Гениальное должно быть непременно *свое* и *новое*; а у графа Толстою ново и, пожалуй, гениально в этом деле только то, что великий оригинальный и *русский* художник, вопреки весьма дюжинному *общеевропейскому* *сентименталисту*, спас самое *содержание* повести в ней (вероятно, *нечаянно*), то, чего бы ей недоставало без этого в строго христианском смысле.

Если же я ошибся и проповедник *строгий*

преднамеренно скрылся за проповедником *сладким*, т. е. ярко осветил и действием, и особенно эпиграфами любовь, а таинственный *страх* скрыл нарочно в полумраке, с целью примениться «духу времени» и с помощью «елея любви» легче ввести в души железо смирения и страха, то это еще хуже!.. Это значило бы «перехитрить» и не достигнуть цели, ибо любовь приписывается в повести очень обыкновенным людям, и всякому это ясно; а наказанию за слушание подвергся *Ангел*, и «высокообразованные» наши читатели могут счесть все это лишь за «поэтическую красоту» или, говоря современным языком интеллигентного *снисхождения*, за «очень милую аллегорическую подробность в *наивно-простонародном* духе...» Но это прекрасно! Лучше уж сделать тот *промах*, о котором я говорил.

К тому же всем известно, что гр. Толстой на «дух времени» прежде не обращал особого внимания и желал быть всегда от него независимым; так что если он, как проповедник и мыслитель, предпочел на этот раз быть почти рабом общеевропейского сантиментального

лжехристианства, вместо того чтобы стараться быть смиренным сыном истинной Церкви, то это тоже, видимо, вышло бессознательно только потому, что стать первым нынче очень легко, а чтобы сделаться или пребыть вторым, нужно гораздо больше условий.

В последнем случае и процесс мышления, и процесс нравственного труда над собою должен быть гораздо более сложный и сильный.

Что сила мышления христианского у графа Толстого стоит в этой восхитительной по изложению повести не на одном уровне с силой художественного выражения, это видно особенно из одного эпизода.

Я говорю о богатом *барине*, который заказал сапоги на год, а умер тотчас же в возке.

Барин, правда, командует несколько грубо и резко, он, видимо, не верит честности русских мастеров. И в этом неверии он, конечно, прав. И Семен, хотя сам человек честный, вероятно, знает, что барин, вообще говоря, имеет основания плохо верить в прочность русской работы. Он за тон этот и не сердится... Но что говорят они оба с женой, когда этот

толстый, сильный и богатый, привыкший ко власти человек вышел из избы, «ударившись нечаянно головой о низкую дверь»?.. Что, они *жалеют* его? Что, им стало *страшно* за голову этого человека, который вреда им никакого не сделал, а, напротив того, доставил им случай выгодного труда? О нет! Они злобно и грубо завидуют его здоровью, его силе, его богатству..

Вот их противный разговор.

Отъехал барин. Семен и говорит:

– Ну, уж кремняст! Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало.

А Матрена говорит:

– С житья такого как им гладким не быть! Этого заклепа и смерть не возьмет.

Какие это чувства? Хорошие? Христианские? Нет, конечно. Из подобных антихристианских чувств зависти и самой легкой, преходящей, мгновенной злобы развиваются мало-помалу все те требования «прав без обязанностей», которых плоды *слишком известны*, чтоб о них здесь распространяться. Нужно только, чтоб эти хотя и грешные, но все-таки

минутные движения Семенов и Матрен нашли себе оправдание в теориях лжепрогресса, и вот односторонне понятая, «удобопревертная» любовь становится иной раз нечаянно орудием злобы, чуть не научно оправдываемой!

Но чем же здесь виноват граф Толстой? – спросят меня. – Он не отвечает за дурные движения своих действующих лиц; он доказал только и эту *естественную* сценой, какой он великий художник! Видимо любя своего сапожника и жену его, он остался беспристрастен и не скрыл в этом случае их порочного, не христианского движения!..

Да, это так; но ведь я и сам говорю, что художественный гений его несоразмерен с весьма среднею силой его *христианского* мышления, со степенью его *евангельского* понимания.

Если б эти две силы у него были ровнее, то он, вероятно, *не забыл бы упомянуть, что Ангел опять услышал в избе ужасное зловоние греха*, подобно тому как он слышал его в те минуты, когда Матрена бранила мужа и не хотела его накормить. Смрад во время завист-

ливых выходов сапожника и его жены должен бы быть сильнее даже, чем тогда; ибо гораздо естественнее и простительнее бедной женщине испугаться и рассердиться на мужа при виде неизвестного и раздетого бродяги, с которым приходится делить *последний* кусок хлеба, чем расплатиться ни с того ни с сего завистью на человека только за то, что он посытее, поздоровее и потолще их с мужем. Настоящая христианская любовь не имеет и тени одностороннего демократизма. Она не спускается только *сверху вниз* по социальной лестнице и не разливается исключительно по плоскости эгалитарной казенщины; она сияет во все стороны одинаково. И есть много случаев, в которых *высший*, богатый, одаренный властью гораздо достойнее и сострадания, и сочувствия, и всех других движений нашей любви, чем неимущий или даже раб.

Молодой граф Ростов, который в «Войне и мире» молодцом один-одинешенек поколотил мужиков, бунтовавших против беззащитной и, *заметим, некрасивой* княжны Болконской (которую он даже и видел в первый раз), обнаружил в этом случае больше христиан-

ской любви, чем, например, французский живописец Давид, когда он на вопрос *доброе, слабое, уже развенчанного и униженного* Людовика XVI: «Когда вы окончите мой портрет?» – отвечал: «Я буду писать портрет тирана только тогда, когда голова его будет передо мной на эшафоте!»

Каждый умный и православный простолюдин поймет Ростова и назовет его, не без сочувствия, «*лихим* барином!». А Давиду стоило бы за это слово дать несколько десятков великорусских прежних плетей!

Из жизни православного нашего народа можно много привести примеров истинной христианской любви *снизу вверх*, но я расскажу только об одном случае, которого и я сам был недавно свидетелем. Случай пустой, но очень характерный. В Оптину пустынь приезжает (ныне уже скончавшийся) Епископ Калужский и Боровский Григорий. Он был человек скромный. Приехал он в маленькой, легкой каретке, на тарантасном ходу, *тройкой*. Духовное начальство монастыря встретило его у ворот с крестом.

День был будний, и толпа мирян у этих во-

рот была невелика. Когда архиерей удалился вместе с игумном, стоявший около меня средних лет небогатый козельский мещанин сказал мне с сожалением: «Что же это он так *просто*... на троечке!.. Хоть бы четверочку запряги бы!.. Право!.. *Архиерей ведь*», – прибавил он значительно.

Вот это любовь! Вот это простота христианская! Что ему за дело в эту минуту, что у него у самого сапоги худы! Он желал бы, чтобы сановник Церкви, которую *он так любит*, сиял бы как можно больше, даже и внешнею... Положим, что в подобных случаях примешивается эстетическое чувство, но что же за беда! Тем лучше. Если где поэзия и нравственность христианская вполне заодно, так это в подобных случаях бескорыстных движений в пользу *высших и власть имеющих*.

*Истинное* христианство тем и божественно, что в нем *все есть*: и высшая этика, и залюги глубочайшей государственной дисциплины, и всякая *поэзия*: и поэзия нищего в лохмотьях, поющего Лазаря, и поэзия владыки, сияющего золотом и «честным» камением...

Козельский мещанин в этом случае оказался не только более строгим и последовательным христианином, чем граф Толстой, но и больше художником, ибо граф Толстой не выдержал даже до конца мистического характера Ангела и забыл о *необходимости*, в которую он поставлен, чувствовать смрад смерти всякий раз, когда люди грешат недостатком любви, как грешил сапожник с женой, завидуя барину и злобясь на него только за то, что он толст и здоров. Чтобы не забыть об этом, нужно бы только знаменитому писателю нашему прочесть с *покорностью* и *смирением* те места из апостолов Павла и Петра, где они даже несчастным *рабам* римским строго и с сильным чувством *приказывают любить* своих господ и повиноваться им не только в *глаза*, но и *за глаза для угождения Богу* (Петра 1-е послание, гл. 2; Павла к колоссяям, г. 3; Иуды 22... и к одним будьте *милостивы с рассмотрением*, 23, а других *страхом* спасайте!)...

Нельзя христианину предпочитать Иоанна Петру или Иакова Павлу, потому что они больше угодили нашему поэтическому капризу или нашей сантиментальности. Такое

одностороннее освещение христианства даже некоторых *детей*, читавших повесть графа Толстого, удивило и запутало... Эти умные дети стали спрашивать у старших своих «За что же Ангел был наказан, когда он пожалел эту женщину? Ведь это любовь?..» Я спрашиваю, легко ли было на это отвечать большинству *нынешних* родителей, стыдящихся *страха* Божия? И не было ли плохое объяснение их источником какого-нибудь *дальнейшего* вреда для детей, прочитавших эту книжку, изданную Обществом распространения *полезных* книг?

Нет, *господа новаторы наши*, далеко вам до истинного христианства – глубокого и все-стороннего, твердого и гибкого в одно и то же время, идеального до высшей степени и практического до крайности!

Ваши знамена – это жалкие, растрепанные обрывки христианства, на которые и смотреть не хочется тому, кто хоть раз видел во всей красе его настоящий, широко веющий стяг Православия.

И добро бы ваши полухристианские и лжехристианские новшества были в самом

деле оригинальны и новы; а то они все не что иное, как простодушное и даже иногда смешное повторение европейских, и в особенности французских, задов.

Вот бы где гордость была кстати и без греха! Если бы *стыдились пуще всего сбиваться на французскую эгалитарность* и стыд бы этот доходил даже до сильнейшего гнева на нее и ее представителей, то этот гнев был бы гнев хороший, гнев чистой идеи; этот гнев был бы похож на пощечину, данную Арию на соборе св. Николаем Мирликийским; эта *гордость* русской мысли незаметно довела бы многих до простого, непритязательного *смирения* перед Православною Церковью и даже перед самыми несовершенными ее представителями.

Эти *лично* иногда несовершенные представители уже тем хороши, что они *обязаны* сказать мне *настоящие* правила веры, напомнить мне *то, о чем я забыл...*

И наконец, разве нет в среде этой людей прекрасных, ученых, образованных, мыслящих? Или разве нет уже между ними подвижников примерных или искренно добрых лю-

дей, любвеобильных, благородных?..

*Ищите* – и найдете их!..

Будьте сами *проще сердцем* и *поглубже, посложнее умом*, и они откроются вам и научат вас лучше всякого «Фоканыча» или «подавальщика Федора», которые учили Константина Левина и *ничему настоящему его не выучили!*

# Примечания

# 1

В последней части «Анны Карениной».

[^^^]

Вот это место «Многая простота есть удобо-превратна *страха* убо потребно есть человеку естеству, да *пределы послушания* еже к Богу сохранит. *Любы* же яже ко Богу подвижет к вожделению *делания добродетелей* и тою восхищается к делам добродетели *Духовный разум* второй есть естеством (т. е. последует естественн за) *делания добродетелей* *Предваряет* же обоя *страх* и *любы*. И паки *предваряет* *любовь* *страх*». (Слово 5-е, с. 27. Св. Исаак Сир. «Слова духовно-подвижнические»)

[^^^]